

**Annette Pehnt**  
***Chronik der Nähe***

Piper Verlag, München 2012  
ISBN 978-3-492-05506-2

S. 7-22

**Анетта Пент**  
***Хроника близости***

Перевод с немецкого Станислава Белецкого  
Перевод под редакцией Ирины Алексеевой

## Вторник

День без разговоров не считается. Сегодня утром ты молчала, как убитая, ничего не говорила, *совсем ничего*, абсолютно ничего. Мне хотелось разжать тебе губы и разлепить веки, просто ничего не говорить - в нашей семье так не пойдет, многое пойдет, но чтобы не говорить: *нет*, так нельзя. Бабушка мать ребенок: говоруньи, вруньи, за словом в карман не полезут, болтушки, сплетницы, щебетуньи, словоохотливые. Вот так вдруг молчать нельзя. Раз ты ничего не говоришь, я сделаю это за тебя.

Мать пугает Анни смертью, это она хорошо умеет.

Я умираю, тихо начинает она, но этого достаточно, чтобы ускорить биение детского сердца, чтобы завоевать Анни на свою сторону, девочка стискивает руку матери и прижимается к ее плечу.

«Я умираю, я это чувствую, в этот раз точно, пришло время». Анни смертельно бледна и не сводит глаз с губ матери. Мать выглядит розовой, но ее губы пересохли, потому что она вдыхает и выдыхает рывками, она дышит так быстро, что когда-нибудь ей не хватит воздуха и она начнет трястись. Теперь Анни знает, что на этот раз мать действительно права, тот, кто стонет при вдохе и стонет

при выдохе, долго так не выдержит, мать долго так не выдержит.

«Мама», говорит Анни испуганно. Мать опускается в кресло и хватает Анни за руку, она держит ее очень крепко, чтобы та не удрала, но она этого никогда не сделала бы, она не оставит умирающую мать в одиночестве, она все сделает для матери и, может быть, спасет ее, если та позволит.

«Я совсем одна», стонет мать, и теперь Анни наконец-то снова знает, что она должна сделать. Она об этом просто забыла, последний раз был довольно давно, тогда это помогло и снова поможет, и вот Анни уже не так жутко, ведь она постарается и снова спасет мать, как в прошлый раз. Она сразу же чувствует радость от того, что может сделать так много для своей умирающей матери.

«Мама», восклицает она и прижимается к матери, которая сразу же обхватывает ее еще сильнее, как если бы смерть хотела вырвать ее из рук ее ребенка, «я же тебя так люблю, ты не можешь умереть».

«Нет», бормочет мать, «я не верю, у меня никого нет, в конце каждый остается один».

«Как же», восклицает Анни с триумфом, сейчас она очень хорошо помнит слова, которые должна сказать и которые будет повторять снова и снова, «как же, у тебя есть я, мама, я люблю тебя». Мать делает оборонительное движение рукой и бессильно отворачивает голову в сторону, от ребенка. Анни перебегает на другую сторону, туда, под взгляд матери, хватает обороняющую руку,

держит ее крепко и начинает поглаживать. Мать дышит громко и быстро, ее пересохшие губы приоткрыты, у нее клокочет в горле, все так и должно быть, как Анни могла забыть об этом. Она быстро отпускает руку, мчится на кухню, смачивает водой полотенце и снова оказывается рядом с матерью, смачивает ее губы влажным полотенцем, хватая ее руку, которая наконец-то сжимается в ответ и крепко держит ребенка. Стоны матери становятся тише, она открывает глаза и смотрит на Анни, которая не отводит глаза.

«Ты моя дочь», бормочет мать, «ты меня не оставишь». Анни кивает, сжимает руку матери и склоняет голову ей на плечо. Теперь, когда она знает, что мать снова не умрет, она внезапно ощущает полную усталость.

И сейчас ты пугаешь меня смертью.

Поскольку я усвоила, что мы говорим обо всем, кроме плохого, сегодня утром в клинике я не могла с тобой говорить. Сначала ты даже не открывала глаза. Твои руки: толще, чем раньше и твердые, кожа, как пленка, натянута на упругих кистях, они неподвижно лежат на одеяле. Я едва не схватила их, но такие ласки для нас не привычны. Они тебя здесь откормили, сказала я осторожно и улыбнулась в твое закрытое лицо, кто-то ведь должен что-то сказать в этой тихой комнате, сестра следит, чтобы дверь всегда оставалась открыта. Я хотела своим взглядом поднять твои веки, которые тоже были

толстыми, маленькие, непроницаемые для взгляда валики. Разговаривайте с мамой, разговаривайте, посоветовала сестра, которая осматривала приборы, просто говорите, она точно все слышит.

Но она же совсем меня не слушает, разве не так.

Говорят, что когда я была ребенком, младенцем, я постоянно плакала: плакала, плакала, хватала ртом воздух, начинала орать еще громче, пока голова не посинеет.

– Это ведь ненормально.

Ты мне постоянно рассказывала, что я была таким утомительным ребенком, ну таким утомительным, всегда плакала, совсем одеревенела от непрерывного плача.

– А ты меня не могла успокоить что ли, мама.

Вопрос, который запрещен, что я имею в виду, задавая этот вопрос, как я смею спрашивать такое. Имею ли я в виду, что ты не умела, не хотела или просто не успевала меня успокаивать, так что ли. Конечно же, ты пробовала, ты все испробовала. Не думаю ли я, что ты оставила бы меня там валяться. Ты брала меня на руки, носила, что-то напевала мне, снова носила меня по квартире, *никогда*, на самом деле *никогда* не оставляла меня одну, говорила со мной, пускала в ход все средства, все, что делают с младенцами: делала все вплоть до бездействия, и кто-то все равно продолжал плакать.

– Это был не безобидный плач, это был уже почти, ну о детях, конечно, так говорить нельзя, это ведь табу,

это был уже почти зловещий вопль, практически пытка, да. Теперь это, наконец-то, сказано. Лишение сна – это пытка.

Ты и к врачу ходила, к семейному врачу, сухому, внимательному человеку, который некоторое время послушал приступы крика в остальном вполне здорового ребенка, а потом умиротворяюще кивнул тебе.

– Неужели это нормально, что такой младенец плачет, все время. Можно ли с этим что-то сделать, что я могу сделать, я больше не могу.

– Это просто нервный ребенок, чуткий, восприимчивый ребенок, он просто плачет немного больше, чем другие.

– Что же мне тогда делать.

– Вы должны оставаться спокойной, тогда ребенок тоже успокоится, с возрастом это пройдет.

Ты никогда не спала, потому что я плакала, то есть: пытка. Не специально, без умысла, но ведь есть же пытки без умысла, во всяком случае, ты чувствовала себя под пыткой, или как это называется, когда не можешь даже голову помыть.

– Как голову.

Ну, поскольку я никогда не оставляла тебя в покое, ты не могла помыть себе голову, очень просто. То есть ты носилась повсюду с засаленными прядями волос, днями, неделями, как будто дикий лук на голове: *совершенно* жалкая, в то время как я радостно себе орала, собственно говоря, я могла бы стать певицей, с такими-то легкими.

Один раз в месяц к парикмахеру, когда папа приходил домой пораньше. Он ведь должен был работать, как это и было тогда, не как сейчас, когда отцы повсюду таскают детей с собой весь день напролет и между тем зарабатывают деньги на компьютере с младенцем на коленях. Тогда ты купила парик, я его однажды нашла за грудой носков. Почему ты его сохранила: темно-коричневая стрижка под горшок с челкой, аккуратная и ровная, парик надевался на голову как шлем, и тогда ребенок мог орать, сколько угодно: ты была причесана.

Когда они бегут из дома в бункер, ноги Анни вдруг отказываются идти дальше. Это недалеко, в маленьком городке все близко. На углу у жилых кварталов бункер, они всего лишь должны пройти сначала мимо большого дома Лютенов, который из-за своей крутой крыши в темноте выглядит, как горная стена, потом огороды и ведьминскую избушку фрау Хелльвигер. Только что вечером Анни мчалась, быстрее, чем обычно бегают дети, сумка с самым необходимым ударялась ей в подколенные ямки. Мать притягивает ее к себе, от этого жмет под мышками. Отец еще в доме, почему он еще там, ведь сигнал тревоги, но он всегда так делает. Он ждет и ждет, пока не станут слышны самолеты, тогда он догоняет, а иногда нет. «Хоть один раз поспать в собственной кровати», говорит он, «ведь ничего не происходит, или что-то произошло, а я не заметил». Анни соглашается:

«Нет, папа, ничего не произошло, пока еще ничего». Потом раздается рев, и Анни закрывает глаза, не молится, не считает секунды, не думает об отце, который взад и вперед ходит наверху в гостиной, наверное, даже открыл окно, чтобы подышать хорошим пряным вечерним воздухом, и пока она не подумает о нем, ничего не произойдет. Сегодня он тоже останется наверху, мать тащит Анни через улицу, тихо ругая отца, «поспать в собственной кровати», бормочет она, «это просто смешно. Я что ли сплю в собственной кровати. Или ты, ты что ли спишь в собственной кровати», и она хватается Анни за локоть, не дожидаясь ответа, потому что им срочно нужно дальше, никто не мешкает и они тоже, нужно поспевать за остальными, иначе потом для них чего доброго не останется места. «Иди быстрее, иначе будем стоять на улице, когда начнут падать бомбы». У фрау Хелльвигер под курткой кошка, голова выглядывает наружу, как дьявольский лик. Лютены под покровом ночи тащат свои инструменты, «это все-таки ценности, неужели все это должно превратиться в фанеру, виолончель, альт 19 века», целый струнный квартет таскают они за собой, они могли бы играть музыку в подвале, но ящики только тихо стоят в углу и вибрируют, когда прилетают самолеты.

Все как всегда, пока внезапно ноги под Анни не подгибаются от усталости, она спотыкается, роняет сумку и останавливается.

«Пошли», направляет ее мать, «или ты собралась

пустить здесь корни». «У меня ноги больше не идут», шепчет Анни, но мать ее не слышит, вокруг них слишком шумно, сирены, множество шагов соседей, крики, пыхтение. Мать обхватывает ее за плечи и грубо толкает вперед, «пошли, Лютены уже давно внизу». Хотя Анни совсем не упирается, ноги не делают того, что должны, с мягкой и упругой дрожью уходят они из-под нее, и снова она заваливается на мать. Мать останавливается и вырывает у нее из руки сумку. «Что с тобой стряслось», кричит она на Анни, «неужели ты не можешь бежать». Анни прислоняется к матери и прижимается головой к ее пальто. Мать отстраняет ее локтем, задирает ее подбородок кверху и говорит ей в лицо, тихо, но так, чтобы Анни услышала: «Ты меня мучаешь. Ты погубишь нас обеих. Ты этого добиваешься, да». Анни закрывает глаза, мотает головой и дает матери дотащить себя без ног до бункера.

Страх, да, страх я испытываю всегда. Все еще, каждый день. В последний раз сегодня утром в клинике: что ты на меня не посмотришь.

Откуда только он у тебя, постоянно спрашивала ты, как будто я это знала.

– Откуда он у тебя взялся, то есть он у тебя не от меня, я никогда не испытывала страха, у меня не было на это права. Испытывать страх на войне – это было невозможно. Но ты, ты просто мимоза. Еще во

младенчестве: страх перед всем и каждым. Перед чужими, собаками, самолетами, темнотой, больше всего перед темнотой, перед машинами, шумом мотора, перед сном, огнем, перед луной и иногда даже передо мной.

Во всяком случае: с тех пор как я научилась говорить, я говорю о страхе. Чтобы его прогнать, конечно, и вообще, говорят-то наверняка именно для этого. Только это не помогало, слов было недостаточно, хотя я их так часто повторяла: итак ты должна была его прогонять, постоянно, снова и снова, даже сейчас еще иногда, ты должна его прогонять, моего мужа не достаточно, он не справится, потому что только ты справишься.

– Ты выросла или нет.

– Да, наверное.

Страх, что тебя скоро не будет. Часто я просыпалась, прислушивалась к вашим голосам в гостиной, там кто-то говорил, то есть там был кто-то, но до конца уверена я не была, это могла быть уловка, сон, фантазия. Только в одном я была уверена полностью: если ботинки стояли в прихожей, ты должна была быть там, без ботинок никто из дома не выходит, по крайней мере, зимой. Ты ведь носила шелковые колготки, они рвутся на щебне, брусчатке, улице, значит – без ботинок тебе не выйти. Я пристально смотрела на ботинки в прихожей, иногда я их трогала, чтобы окончательно увериться, всегда из кожи, всегда полуботинки, всегда аккуратно начищены, папа делал это, он мастерски

полировал их мазью и мягким куском ткани, который ты для него отрезала от его старых кальсон. И вот они дружно стояли под большим зеркалом, твои ботинки и папины рядом, и это единодушие сливалось с вашими голосами сверху, образуя надежную рамку, в которую я могла лечь и наконец-то заснуть.

Ребенок, как нарисованный, красные щеки, светлые волосы колечками, посмотри, как спокойно она спит, ничто не может нарушить ее спокойствия, если бы она только не была такой пугливой.

– Вы же не уйдете.

– Мы не уйдем. Мы не расстанемся.

И действительно вы не расстались. Многие другие вокруг нас разошлись, иногда муж уходил первым, иногда жена.

– Исчезла, она просто сбежала, у него есть помоложе, бедные дети. С кем они теперь поедут на каникулы, кто им теперь бутерброд намажет.

И действительно, бедные дети, думала я, внутри разгорался страх: что же делать детям, когда они боятся, кто за ними присмотрит, и за мной.

– Моя мать тоже исчезла, сказала ты, и это прозвучало почти как достижение, которым ты гордишься: она исчезла, а ты была там и не умерла со страху.

Почему же я такая боязливая, когда ничего нет, ни войны, ни расставаний, ни пожара, просто ничего в моей ровной, тихой, защищенной жизни.

– Чего тебе еще бояться, сказала ты презрительно, ты не собиралась презирать меня, но мой страх был жалок: что такого я пережила?

Страх, что у тебя что-нибудь сломается. Мы сидели на диване, у тебя на коленях книга с картинками, обе руки держат книгу. Я прислонилась к тебе, уткнулась носом в твою кофту, легкий запах дыма, добралась подбородком до твоего плеча, уже почти не слушала историю, которую знала наизусть, пока ты, наконец, осторожно не обняла меня. Теперь твоя рука лежала там, где мне хотелось, мне хотелось быть в объятиях. Но ведь могло получиться и так, что она сломается, просто отвалится. Осторожно я повернула голову, чтобы посмотреть, надежно ли она прикреплена к плечу. Выглядело все хорошо, но такая рука могла быстро отвалиться, как сгнивший сук, могла высвободиться и выкрошиться из сустава, и тогда у тебя была бы всего одна рука, чтобы готовить и пить, и обнимать меня.

– Мама, а руки могут взять и отвалиться?

Ты насмешливо посмотрела на меня, ты могла попытаться изгнать из меня что-нибудь насмешкой, но то, что это не поможет, понимали мы обе.

– Что ты такое говоришь, сказала ты явно насмешливо, чтобы заставить меня почувствовать всю глупость моего вопроса, не чтобы посмеяться надо мной на самом деле, а только чтобы побороть мой страх. Ты думаешь, такая рука может отвалиться, и ты помахала туда-сюда своей рукой у меня перед лицом.

– Нет, сказала я пристыжено, но в торговом центре есть один человек без ноги, он опирается на костыли и у него фиолетовые руки.

– У этого нога не просто так отвалилась, сказала ты, он оставил ее на войне.

Значит, на войне люди оставляли ноги, также как я сумку со сменкой после урока физкультуры. Там они валялись повсюду и становились фиолетовыми, пока кто-нибудь их не собирал и не выкидывал.

– Или, рассказывала я своей подруге Карин, с которой я с удовольствием говорила о разных гадостях, есть приют для оставленных ног. Одноногие люди могут прийти туда и посмотреть, найдется ли такая, которая им подходит. Карин хихикала и звала меня с собой в торговый центр, где мы искали человека с костылями. В этот раз он стоял, прислонившись к кадке с цветком, рядом с аптекой, сжав в фиолетовых руках ручки костылей. Он никогда не садился, хотя скамейка рядом с ним нынче опять была свободна. Он мог запросто получить в приюте новую ногу, хихикали мы. Может быть, женскую ногу, такую длинную, стройную, на шпильке. Мы нарезали круги вокруг аптекарши, она сунула нам глюкозы и следила за нами, чтобы мы чего-нибудь не украли, но для этого мы были слишком маленькие, мы только хотели изучить вблизи одноногого человека, испытать ужас от высоко приколотой безопасной булавкой штанины и войны, где повсюду разбросаны части тел. Мужчина засунул в рот сигарету и

сердито посмотрел на нас, он заметил, что мы уставились на него, а теперь мы с ним играем, отворачиваемся, бредем от него, только чтобы снова подкрасться, прячась за вращающимися стендами карамели от кашля и лейкопластыря, до ноги нам уже почти не было дела, он должен был с нами немного познакомиться, ему мы не позволим сделать нам замечание, мы были быстрые и маленькие, и нас он никогда не сможет догнать.

Торговый центр, ослепительно новый лабиринт, манил тебя почти каждый день. Тогда это было нечто совершенно новое: все под одной крышей. Со своей шикарной черной сумкой на колесиках ты отправлялась из дома, иногда со мной, иногда без меня, а когда я не хотела, ты все равно шла, чтобы дома было всего вдоволь: ящики морозильной камеры заполнены до отказа краснокочанной капустой, яблочным тортом, картофелем фри для жарки, сливочным маслом, уложенным рядами, как стена из кирпичей, горохом, луковым супом, пиццей маргарита, пиццей фунги, пиццей времена года, кайзершмарреном для папы и кусочками льда для гостей; выдвижной ящик с вечными носовыми платками, смесью для пудинга Dr. Oetker, концентратом супа, бульонными кубиками и сухими хлебцами; а в подвале еще больше, туалетная бумага, томатный суп, мармелад, но не домашний, ни за что. Тебе это было не нужно, к счастью, больше никакого консервирования, никаких слив, сад был слишком маленький. Лучше

отметить все в каталоге, закрытый яблочный пирог, картофельные оладьи и вызвать курьера из «Бофроста». И каждый день наполнять черную сумку, не бессознательно, не безудержно, разумно ты совершала покупки, каждый день снова, чтобы дома все было, и иногда смеялась сама над собой.

Поскольку ноги Анни ночью во время сирены больше не могут идти, мать должна что-то придумать. Она находит не очень надежный подвал у соседей всего в пяти домах, практически сразу за углом, но и пять домов для безногих детей слишком далеко. Теперь каждую ночь сирены, она не может тащить ребенка по улице, лучше Анни будет каждый вечер спускаться вниз в ненадежный подвал и оставаться там на ночь. Там она может спать и не будет никого мучить своей медлительностью, она сможет вытянуть свои кисельные ноги на постели, которую для нее приготовила мать. Грунтовые воды у соседей стоят так высоко, что старая мебель, собранная в одном углу, и ящики с запасами и инструменты лежат на деревянных помостах. Постель тоже находится на деревянном помосте, Анни, если свесится за край платформы, может через рейки смотреть на воду. Но, как говорит ей мать, она не должна об этом думать, лучше ей спокойно лежать на постели, иначе она промочит ноги. Кроме того, она все равно должна спать. Мать желает ей спокойной ночи и закрывает дверь на ключ. Конечно же, она должна запереть дверь, потому что иначе сюда может

зайти кто угодно, ведь неизвестно, кто в это страшное время может бродить ночью по улице. Итак, мать закрывает дверь и идет наверх, расстояние между ними всего пять домов, она ведь не может оставить отца одного на весь вечер. Если раздастся сирена, она в одно мгновение вернется, чтобы Анни не боялась.

Анни тихо лежит на постели, прислушивается к бульканью воды под деревянными помостами и ждет шороха за дверью. Поскольку заснуть ей не удастся, она то открывает, то закрывает глаза, чтобы устать, но никакой разницы нет, темнота повсюду.

Если где-то раздается сирена, фабричный гудок или всего лишь пожарная сирена, ты умолкаешь и поднимаешь плечи. Не из-за того, что тебе страшно, совсем нет. Когда я была маленькая, часто была учебная тревога.

– Учебная тревога нужна, чтобы посмотреть, работают ли сирены.

– Но зачем сиренам вообще работать. Если никакой войны не предвидится, тогда сирены не должны работать, тогда все равно.

– Ну потому что невозможно знать, что произойдет.

– Неужели скоро будет война.

– Нет, здесь нет, точно нет.

Учебная тревога могла начаться в обед, когда ты накладывала лапшу или когда ты говорила по телефону с

бабушкой, один из этих бесконечных разговоров:

– Нет, мама, я этого не говорила, нет, послушай хоть минутку, нет, *этого* ты на самом деле не скажешь, мама, но если ты меня не слушаешь. Мама, я часами пытаюсь что-нибудь...

И тут завывала сирена. И ты выпустила трубку, замолчала, сжалась, тогда бабушка - твоя мать могла орать в трубку, что хотела, ты была в другом времени: ночи в одиночестве в подвале, замерзая на деревянном помосте.

Бабушка тоже должна была помнить об этих ночах, в конце концов, она потеряла дом, красивый родительский дом с зелеными ставнями и огородом, все сливовые деревья, свои платья, свадебное платье цвета яичной скорлупы, старое потемневшее серебро, которое Анни, моей матери, раньше дозволялось начищать. Но она продолжала говорить, так громко, что я подслушивала через трубку, потому что стояла рядом:

– Ты слышишь, Анне, то есть, Анне, если ты мне вообще ничего не ответишь, ты должна будешь передо мной извиниться, Анне.

Но ты стояла или сидела там, где только что была, застыв надолго, пока я не начинала тебя звать и щипать и бояться, что ты расплачешься: потому что это было бы хуже всего, этого надо было избежать любой ценой.

Часто твои глаза немного выкатывались, как будто на них изнутри давили слезы и не находили выхода. Но тебе нельзя было плакать и, собственно говоря, сидеть

без дела, ты должна была поддержать меня, ведь я так боялась сирен, я, а не ты.

– Может начаться война, дом, он же может загореться, мама, ты слышишь сирену, почему ты так странно смотришь.

Еще мгновение ты стояла в растерянности, потом обняла меня: сирена уже почти умолкла.